

◆ ВСЕМИРНАЯ
ЛИТЕРАТУРА ◆

ОСКАР
УАЙЛЬД



Саломея
Стихотворения. Афоризмы



МОСКВА
2024

УДК 821.111-82
ББК 84(4Вел)я44
У13

Оформление серии *Н. Ярусовой*

Уайльд, Оскар.
У13 Саломея. Стихотворения. Афоризмы / Оскар Уайльд. —
Москва : Эксмо, 2024. — 208 с. — (Всемирная литература
(с картинкой)).

ISBN 978-5-04-191907-8

В этой книге собраны разножанровые произведения, пожалуй, одного из самых необычных творцов за всю историю литературы — Оскара Уайльда. Эпатажный мыслитель и тонко чувствующий художник, Уайльд смог оставить после себя ряд поэтических и прозаических шедевров. Также в книге опубликована легендарная пьеса Уайльда «Саломея».

УДК 821.111-82
ББК 84(4Вел)я44

ISBN 978-5-04-191907-8

© Оформление. ООО «Издательство
«Эксмо», 2024

.....
————

De profundis

————
.....

ЗАПИСКИ ИЗ РЕДИНГСКОЙ ТЮРЬМЫ

...меня хотят поставить наряду с Жиль де Ретцом и маркизом де Садом. Пусть будет так! Я не буду жаловаться на это. Один из многих уроков, которые выносишь из тюрьмы, тот, что все на свете существует так, как существует, и во веки веков останется таким.

Не сомневаюсь я нимало и в том, что средневековый распутник и автор «Жюстины» — все же лучшие собеседники, чем Зандфорт и Мэртон, герои наших детских книг...

* * *

...Все это разыгралось в первой половине ноября, два года тому назад. Широкий жизненный поток унес нас от того мгновения, что осталось далеко позади. Кто живет на свободе, тот едва может окинуть взглядом такой промежуток времени — а может быть, не может и вовсе.

У меня же такое чувство, как будто со мною это было сегодня, я не скажу даже — вчера.

Страдание — бесконечно длинное мгновение. Его не разделишь на времена года. Мы можем только отмечать его оттенки и вести счет их правильным возвратам.

Время не движается для нас само. Оно вращается. И кажется, оно вращается вокруг одной точки: страдания.

Парализующая неподвижность жизни установлена во всем по неизменному шаблону: мы пьем и едим, нас водят гулять, и мы ложимся спать, мы молимся — или по крайней мере станем на колени для молитвы — по непреложным прави-

лам железных предписаний. И эта неподвижность, благодаря которой каждый новый день своими ужасами напоминает до мельчайших подробностей прошедший, как будто сообщается и тем внешним силам, чья сущность — вечная смена.

Посев и жатва, жнецы, что убирают хлеб, виноградари, которые выжимают виноград, трава в саду, на которой лежит белое покрывало опавших цветов или рассыпаны созревшие плоды, — мы ничего не знаем об этом и не можем знать ничего.

У нас одно время года: время скорби. Нас лишили солнца и луны. Пусть на дворе сверкает день лазурью и золотом, свет, что вползает сквозь тусклое стекло, в окно с железной решеткой, за которой мы сидим, скуден и сер. Вечные сумерки в нашей камере и как вечные сумерки в нашем сердце.

И в области мысли, как в области времени, больше нет движения. Что вы забыли или можете легко забыть, занимает меня сегодня и будет меня занимать завтра. Взвесьте это, и вы хоть сколько-нибудь поймете, почему я пишу, и я пишу именно так, а не иначе.

...Неделю спустя меня перевезли сюда. Прошло три месяца, и умирает моя мать. Никто не знает, как я любил и как чтил ее, ее смерть была ужасна для меня, но я — когда-то властитель слова — не нахожу слов, чтобы выразить мое горе и мой стыд.

Никогда, даже на вершине моего художественного творчества, не был бы я в состоянии одеть достойными словами такую великую скорбь и найти достаточно возвышенные звуки, чтоб выразить пурпуровое зрелище моей невыразимой муки.

От матери и от отца я унаследовал имя, которое они сделали славным и почетным не только в литературе, искусстве, археологии и естествознании, но и в истории моей родины и в ее политическом развитии.

Я опозорил это имя навсегда. Я сделал из него вульгарное, бранное слово в устах вульгарных людей. Я втоптал его в грязь. Толпе грубых негодяев, захвативших его руками, отдал я его на поругание — врагам моим, для которых оно стало синонимом сумасшествия.

Как я страдал тогда и как еще страдаю теперь — не описать пером и не воспримет бумага. Жена моя, всегда добрая и милая ко мне, не захотела, чтобы я услышал из равнодушных уст известие об этой смерти, и, несмотря на свое нездоровье, сделала весь длинный путь от Генуи до Англии, и сама привезла мне весть о моей незаменимой, неизмеримой утрате. От всех, кто мне был предан, доходили до меня выражения соболезнования. Даже люди, не знавшие меня лично, услышав о новом ударе, постигшем меня в моем несчастье, передавали мне слова сочувствия.

...Прошло еще три месяца. Таблица о моем каждодневном поведении и о заданной мне на день работе, которая висит снаружи, на двери моей камеры — тут же и мой приговор, — говорит мне, что на дворе май...

...Счастье, благополучие и успех могут быть грубы по внешности и вульгарны по сути: страдание — самое нежное во всем творении.

Нет ничего в мире души, что не дрожало бы под ударами страдания страшным и утонченным трепетом. В сравнении с ним груб даже тонкий листок сусального золота в электроскопе, указывающий направление незримых для глаза сил. Страдание — рана, откуда сочится кровь, когда до нее дотрагиваются иной рукой, чем рукой любви, — впрочем, и тогда кровь сочится из нее, хотя уже не от боли.

Где страдание, там святая земля. Когда-нибудь человечество поймет, что это значит. До той поры оно не знает жизни. Робби и существа ему подобные могут это понять. Когда меня меж двух полицейских вели из тюрьмы в суд, в длинном коридоре ждал Робби, и, к удивлению большой толпы, которая смолкла перед его милым, трогательным поступком, он просто и серьезно снял шляпу передо мной, когда я в наручниках, со склоненной головой, прошел мимо него.

За более ничтожные заслуги люди попадали в царство небесное. Одушевленные таким чувством, исполненные такой любви, святые становились на колени перед нищими,

чтобы омыть им ноги, наклонялись, чтобы поцеловать прокаженного в лицо.

Я никогда не проронил Робби ни слова об этом. До сего часа я не знаю даже, видел ли он, что вообще я заметил его поступок. За это нельзя воздавать обычных благодарностей обычными словами.

В сокровищнице своего сердца сберегаю я эту благодарность. Пусть покоится она там, как тайный долг, который я, к моей радости, никогда, вероятно, не отдам. Она забальзамирована и сохраняет свой милый облик благодаря миру и наряду долгих слез.

Когда ум казался мне ничтожным, философия — бесплодной, когда слова и фразы тех, кто хотел меня утешить, были для меня как прах и пепел в устах их, тогда воспоминание об этом маленьком, кротком и немом акте любви вскрывало во мне все родники страдания, превращало в розы тернии пустынь, выводило меня из горькой тоски изгнания и одиночества и мирило с израненной, разбитой, великой Мировой Душой.

Те, кто в состоянии видеть не только как прекрасен был поступок Робби, но и почему он для меня имел и всегда будет иметь такое значение, те, может быть, поймут, как, с какими мыслями могли бы они подойти ко мне.

* * *

...Первое творение, которое выпускает в свет молодой человек в расцвете лет, должно бы быть, как весенний цветок, как боярышник на лужайках Оксфорда или как первоцвет на полях Кумнера. Оно не должно отягощаться никакой ужасной, возмутительной трагедией, никакими ужасными, возмутительными поруганиями. Если бы я когда-нибудь вздумал воспользоваться своим именем, чтобы им доставить славу своей книге, это было бы большим художественным заблуждением. Это придало бы моему произведению ложное освещение, а освещение в современном искусстве значит много.

Современная жизнь состоит из сложности и относительности. Это ее отличительные признаки. Чтобы передать сложность, нам нужна среда — ее нежные оттенки, освещения, намеки, особенные перспективы; для относительности нужен фон. Поэтому скульптура — изобразительное искусство не более, чем музыка и поэзия, которая была и всегда будет изобразительным искусством *par excellence*.

...Каждую четверть года Робби посылает мне обзор литературных новостей. Нельзя представить себе ничего восхитительнее его писем, составленных так остроумно и искусно, набросанных так легко. Это — письма в настоящем смысле: беседа с глазу на глаз; в них — все преимущества французских *causeries*: в его тонкой манере поклоняться мне, он обращается то к моей проницательности, то к моему юмору, то к моему прирожденному вкусу к красоте и культуре, и на тысячу ладов напоминает мне, что многие ценили меня как *arbiter elegantiarum*¹, как авторитет в вопросах художественного стиля, и многие даже как высший авторитет. Таким образом он выказывает наряду с сердечным тактом и такт литературный. Его письма были как бы звеном между мной и чудным нереальным миром Искусства, в котором я когда-то был царем и остался бы им, если бы не дал завлечь себя в грубый, несовершенный мир страстей, где вкус неразборчив, а желание безгранично.

Но, несмотря на все чувство благодарности, меня, конечно, поймут или, по крайней мере, сумеют представить себе, что просто как психологический курьез мне интересней было бы услышать какие-нибудь подробности о N..., чем узнавать, что Альфред Аустейп собирается выпустить том стихов, или что... театральные критики пишут в *Daily Chronicle*, или что миссис Мейнелъ прославляется новой сивиллой стиля стараниями одного лица, которое не в состоянии даже восторженно хвалить кого-нибудь, не заикаясь...

¹ Арбитр изящества (*лат.*), т. е. законодатель мод.

Иные жалкие создания, брошенные в тюрьму и лишенные красоты здешнего мира, могут, по крайней мере, не слишком бояться коварнейших силков и горчайших стрел этого мира. Они могут укрыться во тьме своей камеры и сделать из своего позора нечто подобное неприкосновенному святилищу. Свет удовлетворен, свет идет дальше своей дорогой; а им представляют преспокойно страдать.

Не так было со мной.

Страдание, одно за другим, искало меня, стучась в двери моей тюрьмы. И настужь растворили перед страданием ворота, и впустили его. Другьям моим совсем, или почти совсем, не дозволялось меня навещать. Но враги мои во всякое время, когда бы ни пожелали, имели ко мне доступ.

Оба раза, когда пришлось мне являться в Конкурсный Суд, и затем еще два раза, когда меня открыто перевозили из одной тюрьмы в другую, при обстановке невыразимо унизительной, я был отдан любопытству и издевательству толпы.

Вестник смерти принес мне свою весть и снова ушел от меня; в полном одиночестве, лишенный всего, что могло бы утешить меня или смягчить мое горе, я должен был терпеть невыносимую муку, боль и угрызения совести, которые вызывала и до сих пор еще вызывает во мне память о моей матери.

Едва время затянуло эту рану (не излечена она и до сих пор), как жена моя через своего поверенного начинает писать мне грубые, злые, отвратительные письма. Нишета угрожает мне, и в то же время она ставится мне в упрек. Это можно было бы еще перенести. Я могу привыкнуть и к худшему. Но у меня отнимают обоих детей моих, по приговору суда. И это причиняет мне бесконечную боль, которая никогда не исчезнет.

Есть что-то ужасающее в мысли, что закон может постановить, что мне, отцу, не подобает находиться при моих детях и подобное постановление может быть применено. В сравнении с этим позор быть в тюрьме — ничто.

Как я завидую другим людям, что расхаживают вместе со мной взад и вперед по тюремному двору! Их дети — я уверен в этом — ждут их, ожидают их возвращения, будут осыпать их ласками.

Бедняки — мудры, они — сострадательнее, ласковее, они чувствуют глубже, чем мы. В глазах их тюрьма — трагедия в жизни человека, несчастье, стечение обстоятельств, нечто такое, что вызывает сочувствие в ближнем. Человек, попавший в тюрьму, на их языке просто «несчастный». Они всегда выражаются так, и величайшая мудрость любви заключается в этом.

Совсем не так у людей нашего круга. Там тюрьма делает человека парием. Я и подобные мне — мы едва еще имеем право на воздух и солнце. Одно ваше присутствие оскверняет радости других. Когда мы снова выйдем на свет, мы будем непрощеными гостями. Нам не следует больше наслаждаться лунным светом. У нас отбирают наших детей. Разрывают и эти дорогие узы, связывающие нас с человечеством. Мы осуждены быть одинокими, меж тем как наши сыновья живут. Нам отказывают в единственном, что могло бы нас исцелить и поддержать, что могло бы влить бальзам в наше разбитое сердце и внести мир в нашу истерзанную душу...

* * *

...Я должен сознаться себе самому: ни N, ни N, если даже число их умножить в тысячу раз, — не могли бы погубить такого человека, как я. Я сам погубил себя. Никто, будь он велик или ничтожен, не может погибнуть, кроме как от собственной руки. Я охотно готов признать это. И я утверждаю это, хотя мне и не поверят теперь. Если я подал эту несчастную жалобу, то я подал ее и на самого себя. Как ни ужасно то, что свет сделал со мной: сам я сделал с собой гораздо более ужасное.

Между мной и между искусством и культурой моего века была символическая связь. На заре своих зрелых лет

узнал я это, и затем заставил это признать своих современников. Немногие занимали такое положение, как я, бывали так признаны при жизни. Обыкновенно такое положение устанавливается сначала историками и критиками — если только вообще оно устанавливается — и притом много позже, когда и сам человек, и время его миновали.

Со мной было иначе. Я сам сознал свое положение и заставил признать его других. Байрон — тоже символическая фигура, но только он жил страстями своего времени и пресытился ими.

Мои страсти были направлены к более благородному, к более неизменному; они затрагивали более важные вопросы жизни, ставили себе более далекие цели.

Бог даровал мне почти все. У меня была гениальность, громкое имя, высокое общественное положение, слава, блеск и умственное дерзновение.

Из искусства я сделал философию, из философии — искусство.

Я научил людей думать по-иному, я придумал новую окраску вещам.

Все, что я говорил и делал, повергало людей в изумление. Я взял драму — самую объективную из форм, ведомых искусству, — и сделал из нее особый, личный род творчества, подобный лирическому стихотворению, подобный сонету; я расширил ее пределы, и в то же время я обогатил ее сущность.

Драма, роман, поэма в стихах, стихотворение в прозе, отточенный диалог из области действительности или диалог фантастический — все, к чему я ни прикасался, я украшал, облакал новой одеждой Красоты. Ложь, как и правду, я подчинил законной власти Истины и показал, что правда и ложь — лишь умственные формы бытия.

К искусству я относился как к наивысшей действительности; жизнь я считал лишь одним из проявлений творчества.

Я пробудил фантазию моего века; вокруг меня и обо мне создавались легенды и мифы. Все философские системы я влагал в одну фразу, все бытие — в эпиграмму.

Но, кроме того, было еще во мне и многое другое. Я дал увлечь себя глубоким очарованиям безрассудных, чувственных наслаждений. Мне нравилось быть фланером, денди, законодателем моды. Я окружал себя мелкими натурами и низменными созданиями. Я стал расточителем своего собственного гения и ощущал изысканное удовольствие, сжигая вечную юность.

Утомленный блужданием на высотах — по собственной воле сошел я в низины в погоне за новыми ощущениями. Чем в области мысли был для меня парадокс, тем в области страсти стала для меня извращенность. Желание в конце концов стало болезнью, или безумием, или тем и другим вместе.

Жизнь других уже не значила для меня ничего. Я брал наслаждение, когда мне нравилось, и шел дальше.

Я забыл, что каждый ничтожный поступок повседневности создает или разрушает личность, и то, что делаешь втайне, у себя в комнате, будет когда-нибудь возглашено громким голосом с кровли домов.

Я потерял власть над самим собой. Я не был уже больше кормчим своей души, и сам не замечал этого. Я дал впрячь себя в ярмо наслаждения. И конец был — ужасающий позор.

* * *

Теперь мне остается лишь одно: полное смирение.

Два года я пробыл в тюрьме. Дикое отчаяние владело мной; я предавался горю, один вид которого возбуждал сострадание; я отдавался безумной, бессильной ярости; я был исполнен горечи и презрения, я громко кричал; потом опять мое горе не находило себе выражений, и моя боль оставалась немой.

Я прошел все виды страдания, какие можно себе представить. Теперь я знаю лучше, чем сам Вордсворт, что хотел он сказать своими стихами: «Страдание — вечно, тускло и сурово, и в нем есть сходство с Бесконечностью».